

О. Кен

Сталин, Литвинов и другие
О книге С. Дуллэн “Влиятельные люди. Послы Сталина в Европе, 1930-1939 гг.”

*Sabine Dullin.**Les hommes d'influences. Les ambassadeurs de Staline en Europe 1930-1939.**Paris: Payot, 2001. 383 p.*

Четверть века назад один из крупнейших исследователей европейской дипломатии Дональд Камерон Уатт отмечал неподатливость самого объекта дипломатической истории духу времени – *Zeitgeist*, отдающему первенство социально-историческому моделированию и “новой социальной истории” (истории повседневности, ментальностей, меньшинств и т.д.). С одной стороны, история взаимоотношений между государствами требует понимания сложной каузальной системы отношений, обуславливающих каждый неповторимый акт. Даже освоение огромного массива документации, как правило, не позволяет придти к убедительным обобщениям (и появление работ по истории дипломатии нередко оправдывается исключительно привлечением новых источников и необходимостью заполнения пробелов). С другой стороны, история дипломатии со самого своего существу не может быть ничем иным, чем историей властных элит, что создает неустранимой разрыв между анализом внешней политики и основ социальной системы¹.

Подходы к истории внешней политики за последние десятилетия в этом отношении мало изменились, и потому размышления британского историка позволяет оценить концептуальную новизну и значительность нового исследования преподавателя Университета Париж-1 Пантеон (Сорбонна) доктора Сабин Дуллэн «Влиятельные люди». Перед нами история европейской дипломатии СССР, институциональная история внешнеполитического ведомства, но прежде всего – *история людей*. Повествование разворачивается в свободной, непринужденной манере, не обращая внимание на разграничительные линии между различными видами исторического исследования, подчиняясь лишь потребности к пониманию своих героев, которыми и сквозь которых разыгрывалась драма взаимоотношений сталинской России с буржуазной Европой.

“Тоталитарная школа” делала “историю людей” излишней, закрытость советских архивов – почти невозможной. Более широкий взгляд на характер советской системы и «документальная революция», вызванная ее крушением, позволили поставить новые вопросы, пишет во введении к своей работе С. Дуллэн. Как на протяжении 30-х годов сосуществовали логика произвола и рациональная политика? Являлись ли «посланцы Сталина в Европе» чем-то большим, нежели исполнителями централизованной воли, простым «орудием» Сталина? Какая связь существовала между «жесткостью» политических целей и «мягким» публичным поведением, деятельностью посольств по привлечению симпатий и обретению влияния в зарубежных странах? По существу речь идет о новой постановке ключевой проблемы советской истории – о механизмах и пределах взаимодействия тоталитарной системы и автономии политических действий. Другой круг задач, которые поставила перед собой С. Дуллэн связан с непрекращающимися спорам о происхождении второй мировой войны. Проблема двойственности советской политики на протяжении десятилетий продолжает непреодолимые разногласия относительно того, какое место занимали в ней прагматизм (ассоциируемый с противодействием германской экспансии в интересах защиты государства) и идеология, уравнивавшая все

¹ D. C. Watt. Some Aspects of A. J. P. Taylor's Work as Diplomatic Historian // Journal of Modern History. Vol. 49 (March 1977). P. 19-21.

капиталистические страны и ориентированная на достижение победы социализма в мировом масштабе и любой ценой. Разрешение этой проблемы, С. Дуллэн, предлагает искать в поведении Кремля и его взаимоотношениях с НКВД, исследуя формирование и дезинтеграцию консенсуса относительно внешнеполитических задач, возникновение синтеза антикапитализма и великодержавия. Эти две группы исследовательских задач объединены стремлением «увидеть человеческие противоречия системы, которая в очень значительной степени была бесчеловечной» (Р. 18).

Исследование С. Дуллэн основано на результатах почти десятилетних разысканий в архивах Москвы (в Архиве внешней политики МИД РФ, Российском государственном архиве социально-политической истории, Российском государственном военном архиве, Государственном архиве РФ, Архиве РАН), а также в архивах Парижа и Женевы. Приводимая в книге обширная библиография хорошо структурирована и чрезвычайно полезна для российских историков, которые сравнительно мало информированы о вышедших во Франции и Италии исследованиях по политической истории СССР и европейской дипломатии. Дистанцирование от продолжения историографических споров и полемики порой заставляет сожалеть об отсутствии привычной остроты профессиональной дискуссии (ссылки С. Дуллэн на другие работы, как правило, комплиментарны). Нельзя, однако, не признать, что сделанный ею выбор в пользу сдержанного документального повествования в конечном счете себя оправдывает. Простой и элегантный язык, сжатость ссылок, последовательность изложения направляют внимание читателя на описываемую реальность.

Подробный анализ исследования С. Дуллэн в рамках рецензии или статьи невозможен. Остановимся поэтому лишь на некоторых основных проблемах, рассмотренных в ее книге.

Первая глава посвящена “браку по расчету” между двумя главными творцами советской внешней политики начала 30-х – Сталиным и Литвиновым. Имеющиеся свидетельства подтверждают суждение С. Дуллэн о том, что именно в процессе их “рабочих взаимоотношений” из разнообразных ингредиентов внутренней политики и международной дипломатии формировался подход СССР к внешнему миру. Приоритетом для обоих являлись отношения Советского Союза с Западом, который представлял одновременно “миражом современности” и носителем зародышей войны или революции. При этом С. Дуллэн вслед за многими другими западными историками отчасти поддается соблазну рассматривать заявления советских лидеров об опасности нападения на СССР с запада как выражение если не реального положения дел, то их “действительных страхов”, приводя в качестве подтверждения письмо Сталина Молотову 1 сентября 1930 г. (Р.41-42). Пример выбран, на мой взгляд, выбран неудачно: именно этот документ демонстрирует не только абсурдность рассуждений об интервенционистских планах западных стран, но и инструментальную внутривнутриполитическую направленность заявлений Сталина, которому в тот момент требовалось обосновать скачок в советских военных приготовлениях (что создавало новые проблемы для Председателя Совнаркома). Что же касается подлинной озабоченности советских лидеров перспективой соединения крестьянского протеста против коллективизации с вмешательством Польши, к осени 1930 г. она уже миновала. В любом случае, отношение Москвы к угрозе интервенции требует более дифференцированного анализа, учитывающего эволюцию, которое оно претерпевало на протяжении 20-30-х гг. Думается, что в первой половине 30-х гг. партийно-государственное руководство уже не опасалось, что под воздействием внешнего удара крестьянские массы западных окраин действительно выйдут из-под его контроля. Вместе с тем, в этот период правящая элита обрела (пусть и ненадолго) устойчивость, исключавшую “поднятие восстания в партии против Центрального комитета”².

Бесспорно, впрочем, что основной задачей советской дипломатии в начале 30-х гг. являлось преодоление изоляции и нормализация отношений СССР с западными соседними

² И. Сталин. Речь в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной Армии. 4 мая 1935 г. // И. Сталин. Вопросы ленинизма. М., 1952. С.527.

государствами. При этом приоритеты Политбюро и Наркоминдела, по осторожно высказанному мнению С. Дуллэн, не совпадали. В отличие от Сталина и Молотова, Литвинов придавал основное значение соглашению с Францией, а не гарантиям мирных отношений с Польшей и другими западными соседями. Это наблюдение автора близко другому ее утверждению (относящемуся к концу 30-х гг.) о том, что Литвинов и его коллеги ориентировались в первую очередь на долгосрочные инвестиции СССР в сотрудничество с Западом, тогда как политическое руководство интересовала прежде всего ближайшая выгода. Несомненно, что и в этом, и в другом случае речь идет о “прагматизме”. Хотелось бы надеяться, что вводимое С. Дуллэн разграничение между двумя прагматическими ориентациями, одна из которых тяготеет к получению любой ценой немедленного результата, а другая – к “подготовке почвы” на будущее, получит широкое признание, что в свою очередь сделает невозможным дальнейшее злоупотребление ссылками на “прагматизм” советской политики, которые в работах последних лет нередко прикрывают неспособность их авторов предложить содержательную трактовку смысла международной активности СССР.

В начале 30-х гг. Литвинов настойчиво добивался согласия сталинского руководства на развитие разнообразных форм многостороннего сотрудничества в соответствии с сформулированным им тезисом о неделимости мира (пожалуй, С. Дуллэн стоило бы отметить, что эта формула была впервые выдвинута Литвиновым не в конце 1928 г., а почти девятью годами ранее³). Подлинным успехом Литвинова стала разработка Наркоминделом и принятие Политбюро в январе 1933 г. проекта международной конвенции об определении агрессора. Этот документ, вскоре внесенный Литвиновым на международный форум в Женеве, знаменовал не только отказ от традиционной линии СССР, в соответствии с которой акциям по обеспечению безопасности должно было предшествовать всеобщее разоружение, но и фактический переход СССР в лагерь противников пересмотра послевоенного территориально-политического урегулирования. В первой половине 1933 г. впервые советское предложение всерьез обсуждалось международной конференцией, получило поддержку Франции и стало основой многосторонних Лондонских конвенций об определении нападающей стороны. “Новизна проекта прошла фактически незамеченной в Москве”, отмечает автор, поскольку Литвинов в своем представлении Политбюро Литвинов изобразил эту инициативу как всего лишь пропагандистский прием в рамках советского участия в конференции по разоружению (Р. 52-53). Сомнительно, однако, что если не рядовые деятели Политбюро, то члены Комиссия по международным делам (Сталин, Молотов, Каганович), вникавшие в детали политических переговоров, были настолько наивны, чтобы принять заверения Литвинова за чистую монету. Скорее всего, как Литвинов, так и Сталин попросту желали смягчить впечатление от стремительных перемен в советской внешней политике в конце 1932 – начале 1933 гг. В этом случае, как и во многих других, исследователь сталкивается с двусмысленностью и недосказанностью, которыми отмечены сохранившиеся свидетельства. Разумеется, этот феномен существует в любой властной элите. Однако идеологический пафос советской системы, ее внутренняя архаичность, претензия на поступательное движение в соответствии с раз и навсегда определенными истинами побуждали вождей с особым тщанием камуфлировать изменения в политической линии, представлять новое (будь то форсированная коллективизация или Народный фронт) как продолжение давно определенной линии, а собственную инициативу – как реализацию воли высших инстанций. Уже в силу этого труднодоказуемым (хотя и весьма правдоподобным) является вывод С. Дуллэн о том, что влияние Литвинова в советском руководстве к 1934 г., в значительной мере объясняется внутренней слабостью СССР и, как следствие этого, готовностью принять выдвигаемую им «идею необходимого компромисса» с Западом. Это обстоятельство приоткрывало возможности «человеческому фактору» советской дипломатии (Р. 55, 125-126).

³ См.: А. Р. Pope. Maxim Litvinoff. N.Y., 1943. P. 234.

Посвященная этому “фактору” вторая глава представляет читателю советских дипломатов как сообщество индивидуальностей и элитарную профессиональную группу (около 300 человек из примерно тысячи сотрудников НКВД, работавших в Москве, союзных республиках и за границей в первой половине рассматриваемого десятилетия). В этом отношении исследование С. Дуллэн продолжает прекрасную работу Т. Алдрикса о Наркоминделе 20-х гг.⁴ Несмотря на растущее привлечение молодых кадров, обладавших характерными чертами “новой советской интеллигенции”, вплоть до 1937 г. основное ядро советских дипломатов парадоксально сочетало в себе черты революционного авангарда начала XX века и “старых специалистов”, рекрутированных большевистским режимом. В первую очередь это относится к узкому кругу ближайших сотрудников и друзей Литвинова. Большинство из них (Суриц, Майский, Штейн) примкнули к большевикам лишь после революции (несколько озадачивает в этом контексте упоминание бывшего меньшевика и полпреда в Германии Хинчука, на близость которого к Литвинову ничто не указывает). Молодые сотрудники наркома (Розенблум, Гершельман, Егорьев, Лашкевич) и вовсе отличались “полной аполитичностью”. Эту картину несколько нарушило бы обращение автора к фигуре Марселя Розенберга – одного из самых ярких молодых и ценимых Литвиновым дипломатов и вместе с тем искреннего энтузиаста, в конце 20-х гг. на время добившегося перевода на партийную работу в российской глубинке⁵. Бесспорно, впрочем, что к политическим убеждениям своих сотрудников нарком проявлял видимое безразличие, ориентируясь, как пишет С. Дуллэн, исключительно на профессиональную компетентность и непосредственное знание западных реалий (Р. 79). Во многом благодаря этой установке и упорному отстаиванию своих позиций наркомом (и добавим, его заместителем Крестинским, отвечавшим за кадровую политику НКВД) опасения Чичерина, что после его ухода произойдет люмпенизация дипломатического ведомства, не оправдались.

О существовании такой угрозы свидетельствуют непростые отношения Наркоминдела с партийными контролерами и функционерами. До середины 30-х гг. их “сигналы” и дисциплинарные акции обычно не влекли за собой серьезных последствий (а порой и способствовали очищению атмосферы в замкнутых общинах советских зарубежных представительств). В целом руководство НКВД оставалось хозяином в своем доме. В области идеологии естественным оппонентом дипломатического ведомства являлся аппарат Коминтерна – “Всемирной коммунистической партии”, для которой разоблачение пацифистских иллюзий и свержение буржуазных правительств до середины 30-х гг. оставались единственными рецептами предотвращения войны. Однако о прямом воздействии Коминтерна на линию НКВД, судя по изложению С. Дуллэн, говорить не приходилось. Борьба между ними велась скорее за симпатии советских вождей – одновременно практиков и идеологов. Отмечая различие акцентов в выступлениях публицистов, тесно связанных с Наркоминделом (Корнев, Гнедин и др.), и «профессиональных коммунистов», автор, пожалуй, упрощенно оценивает позицию «Радека и его коллег». Среди множества публикаций К. Радека как главного советского пропагандиста действительно немало статей, выдвигающих на первый план неизменную враждебность капиталистического мира в отношении СССР. Тем не менее никто иной как Радек в своих статьях в «Правде» весной 1933 г. обосновал изменение подхода Москвы к Версальской системе (об этом упоминает и сама С. Дуллэн (Р 119)). Скептическая оценка поведения Лондона в итало-эфиопском конфликте не помешала Радеку вопреки господствующим антибританским представлениям (закрепленным, кстати, в резолюции VII конгресса Коминтерна) настаивать на перспективности политического сотрудничества СССР с Англией⁶. Критика Радека со стороны Наркоминдела отражала не столько недовольство

⁴ Т. J. Uldricks. *Diplomacy and Ideology: The Origins of Soviet Foreign Relations, 1917-1930*. L., 1979.

⁵ См.: Письмо Н. Н. Крестинского Л. М. Кагановичу, 7. 12. 1930. – РГА СПИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 204. Л. 263. Новые сведения о М. И. Розенберге см.: В. Малеванный, А. Судоплатов. Автограф Кассандры // Независимое военное обозрение. 2002. 2.08. № 26.

⁶ См., в частности: К. Радек. Предисловие // «Бдительные». Расследование о мире. М.-Л., 1936. С. VIII, XII.

дипломатического ведомства ортодоксальностью их суждений, сколько стремлением оградить себя от вмешательства посторонних. Как бы там ни было, ведомственные усилия по сохранению самоидентичности оказывались успешны, что позволило советским дипломатам на протяжении большей части 30-х годов сохранять свою неповторимую индивидуальность и особый корпоративный дух.

Размышляя над основополагающими факторами, в силу которых героям книги удавалось сохранять сравнительную свободу мыслей и действий и оказывать влияние на политические решения, стоит вернуться к одному из важнейших тезисов С. Дуллэн, основанных на общей теории систем. «То, что для проблемы составляет неопределенность, для действующих лиц означает силу», – цитирует она социолога М. Крозьера (Р.13). Неопределенность, являвшаяся неотъемлемой чертой международной политики 30-х гг., предоставляла дополнительную степень свободы актерам любого уровня – государствам, политическим группам, социальным коалициям, индивидам (не потому ли, это десятилетие столь притягательно для исследователей?).

Неопределенность – сквозное понятие центральной (третьей) главы книги С. Дуллэн, посвященной мотивам внешнеполитического поведения СССР в 1933-1936 гг. Российского читателя, воспитанного на представлениях о наличии некоего «твердого ядра» советской политики в Европе – будь то «политика коллективной безопасности» или «подготовка сговора Сталина с Гитлером» изложение С. Дуллэн разочарует. Она отказывается не только от популярных ретроспективных суждений, спрямляющих путь СССР к пакту 23 августа 1939 г., но и от обсуждения эволюции советской политики в 1932-1933 гг. как формирования курса на коллективную безопасность. Возможно, в силу этого автор не стремится к детальному описанию драматических перемен в советской позиции накануне и после прихода Гитлера к власти, – «сегодня мы знаем» (употребляя ставшее популярным выражение Дж. Л. Гэддиса), сколь непрочными, зыбкими, необязывающими были эти перемены. Отказываясь от борьбы с Версальской системой, Советский Союз так никогда и не солидаризировался с ее главными постулатами (в частности, весной 1935 г. воздержался от протеста против ремилитаризации Германии) и не признал нерушимости послевоенных границ (в том числе, советско-румынской границы по Днестру). Сабин Дуллэн предлагает иную концептуальную рамку для характеристики советского поведения в середине 30-х гг. – *«тактика балансирования»*.

Одним из двух полюсов этого балансирования являлось сближение с Францией на основе изоцирального плана Восточного Локарно, включавшего региональный пакт взаимопомощи стран Восточно-Центральной Европы и франко-германо-советское гарантийное соглашение. Перечень стран, которых СССР желал видеть в числе участников регионального соглашения, отражал опасения политического руководства и армейского командования относительно польско-балтийского направления. При этом идея Восточного Локарно, отмечает автор, содержала в себе две актуальные возможности, был рассчитан как на создание барьера против германской экспансии, так и на обеспечение условий для переговоров с Германией о легализации ее вооружений. По существу для Советского Союза в меньшей степени, чем для Франции план коллективной безопасности в Восточной Европе план «коллективной безопасности» являлся средством предотвратить взаимную конкуренцию за договоренность с немцами. С другой стороны, в своих докладах высшему руководству нарком Литвинов подчеркивал, что отсутствие общей границы между СССР и Германией на деле означает сравнительную малозначимость советских обязательств по сравнению с французскими (Р.133). Вероятно, Литвинов имел основания рассчитывать на чувствительность адресатов к такой аргументации. Действительно, с середины 1935 г. советское руководство предприняло неоднократные попытки нащупать возможности улучшения отношений с Германией. Автор показывает, что эти усилия не могут быть отнесены к личной дипломатии Сталина и осуществлялись как через торгпреда Канделаки, так и через дипломатических представителей СССР в Берлине, а результаты их зондажных бесед обсуждались в Кремле с участием Литвинова и Крестинского. Можно ли при этих

условиях говорить об устойчивой «германофильской» тенденции и тем более о существовании в высших эшелонах власти «германофилов»? С. Дуллэн, похоже, колеблется, то заключая эти определения в кавычки, то освобождаясь от них. Возможно, дело здесь в неадекватности применения самого термина «германофильство» для определения своеобразной смеси ведомственных интересов, иллюзий относительно природы нацистской режима, личных пристрастий и тактических расчетов на использование Германии для укрепления внешнеполитических позиций СССР. В значительной степени надежды Москвы основывались на упрощенных марксистских представлениях о зависимости гитлеровского режима от заинтересованного в советском рынке крупного капитала, о неизбежности влияния экономического кризиса на внутреннюю и внешнюю политику нацистов. В Кремле как будто не отдавали себе отчета, насколько национал-социалистская система сходна с их собственной в утверждении примата политики и идеологии над социальными и экономическими условий. В изложении С. Дуллэн международное поведение СССР в 1933-1937 гг. напоминает мучительное блуждание между многосторонней «коллективной безопасностью» в союзе с Францией и двусторонней «нормализацией отношений» с Германией, совершаемое под воздействием разнообразных импульсов и внутренних побуждений.

Несмотря на разноречивость оценок, рекомендаций и инициатив, которые С. Дуллэн реконструирует на основе тщательно отобранных архивных документов, по ее мнению все же можно говорить о существовании в 1933—1936 гг. некоего «общего консенсуса» (*un consensus global*) “относительно германской опасности и имеющихся у СССР средств, чтобы обезопасить себя от нее”. При этом Литвинов, Сталин и Молотов использовали неодинаковую “грамматику” для декодирования внешнего мира (Р. 143). “Задние мысли” советского руководства и дипломатов “были различны” (Р. 174). Это различие, судя по аргументации автора, могло бы оставаться несущественным, если бы Советский Союз не увязал все глубже в безуспешности своих действий в обоих направлениях – французском и германском.

Положение, сложившееся к рубежу 1936-1937 гг. С. Дуллэн характеризует как разрушение прежнего консенсуса в высшем советском руководстве: мнение “руководящих товарищей” берет верх над настояниями НКВД продолжать усилия по созданию международной системы безопасности. В начале осени 1936 г. руководители Политбюро отклонили предложения Литвинова о новых дипломатических инициативах – о заключении общеевропейского договора о взаимной помощи и о создании особой группировки воздушных сил под эгидой Лиги Наций (Р. 160-162). В январе 1937 г. нарком дал указание полпредству СССР во Париже не поднимать перед французским правительством вопрос о переговорах генеральных штабов. В отличие от Вас, писал Литвинов полпреду во Франции, я знаю, существует ли сейчас в Москве стремление к таким переговорам, “между тем у меня есть причины в этом сильно сомневаться” (Р. 176). Вообще, “начиная с ноября 1936 г. Литвинов в своей переписке с послами все чаще отделяет себя от передаваемых им решений, уточняя, что речь идет о точке зрения “компетентных товарищей”. Что же касается дипломатов, чувствуется их неуверенность в отношении фундаментальных целей проводимой политики” (Р. 172). К исходу весны настроения в правительстве Л. Блюма склонились в пользу активизации связей с Россией. Советские дипломаты с надеждой ожидали, что сотрудничество двух стран вступает в новый этап, но в июне 1937 г. “чистки нанесли серьезный удар по франко-советским отношениям” (Р. 178). Интерпретация, предложенная С. Дуллэн основана на убедительных свидетельствах, однако вызывает и немало сомнений.

Во-первых, оказывается, что и для Наркоминдела безотлагательные переговоры генштабов более “не являлись главной задачей”. Для советских дипломатов она скорее состояла в том, чтобы “подготовить почву в преддверии изменения правительства и в особенности политической линии” Франции (Р. 177). Такая перемена произошла во многом под влиянием сдержанности, которую “руководящие товарищи” стали проявлять в

отношении Франции и «отчасти обоснованных» слухов о советско-германском сближении. Эти слухи распространяло и полпредство СССР в Париже, используя свои связи с субсидируемой им влиятельной французской прессой (Р. 214). Таким образом, расширяющаяся трещина в советском внешнеполитическом руководстве предстает едва ли не главным фактором тактических успехов «литвиновской политики» в начале 1937 г. Не означает ли это ее собственного бессилия?

Во-вторых, предложения НКВД осени 1936 г. не могут не удивлять своей нелепостью. Единственно возможный «общевропейский пакт о взаимной помощи», как было хорошо известно НКВД, существовал в форме соответствующих статей Лиги Наций и новые инициативы на этот счет не могли не оказаться столь же мертворожденными, как литвиновское предложение 1934 г. о «постоянной конференции мира». Поэтому, начиная с рубежа 1933-1934 гг. советские акции были подчеркнута ориентированы на региональные (а не всееропейские) соглашения. В 1934 г. Литвинов категорически возражал против участия Румынии в Восточном пакте взаимпомощи, в 1936 г. он предлагал Сталину призвать в ряды защитников европейской стабильности заодно и Югославию (с которой у СССР не было даже дипломатических отношений). Приводимые наркомом аргументы и подсчеты как в интеллектуальном, так и в количественном выражении слишком напоминают известную сербскую песню «Нас и русских триста миллионов». Если полпред Майский счел нужным поддержать соображения своего шефа, написав ему, что такой договор может явиться средством вовлечения Англии в вопросы европейской безопасности, то это означает лишь, что они оба предпочли имитировать беспредельную наивность. Остается предполагать, что проект «общевропейского пакта» был рассчитан главным образом на то, чтобы поддержать (или заново возбудить) интерес Сталина к «коллективной безопасности», удержать его от поворота руля в сторону Германии. Однако не свидетельствует ли тот факт, что Литвинов и его сотрудники осенью 1936 г. оказались неспособны выдвинуть реалистичные предложения в рамках отстаиваемой ими политики, что сама она зашла в тупик? Кроме выжидания Наркоминделу по существу нечего было предложить «руководящим товарищам».

По существу в книге Сабин Дуллэн представлена яркая картина *кризиса европейской политики СССР в 1936-1937 гг.* Сама С. Дуллэн воздерживается от такой оценки и, кажется, склонна считать, что внешнеполитический паралич был порожден распадом консенсуса в советских кругах по германской проблеме, а не тем, что этот консенсус и политика СССР в целом изначально основывались на шатких, иллюзорных предпосылках. Между тем, привлеченные С. Дуллэн материалы позволяют наметить некоторые пути к такой интерпретации.

Прежде всего, с самого начала политика «коллективной безопасности» была направлена не только против Германии, так и против страны, которой предстояло первой дать отпор гитлеровской агрессии, – Польши. Как свидетельствуют обращения Литвинова Сталину, уже первоначальный план Восточного Локарно рассматривался ими как гарантия от нападения не только со стороны Германии, но и Польши (Р. 127). Это позволяет по новому оценить известное постановление Политбюро декабря 1933 г. о непременном участии Польши в региональном пакте безопасности и сопротивление Москвы трансформации первоначального плана в направлении двусторонних пактов СССР с Францией и Чехословакией. Характерно, что доказывая Политбюро ценность договора с Францией Литвинов в апреле 1935 г. едва ли не главное ударение делал на польском аспекте. Этот договор, писал он, уменьшит возможности войны «как со стороны Германии, так и со стороны Польши или Японии. Более того, пакт может стать препятствием к реализации устремлений Польши к созданию антисоветского блока, состоящего из Польши, Германии и Франции и некоторых других стран» (Р. 135). Для военного командования Польша оставалась «ближайшим вероятным противником», подготавливающим нападение на Советский Союз в союзе с Германией и Японией.

Единственным основанием для этих абсурдных умозаключений являлись домыслы относительно смысла польско-германской декларации 26 января 1934 г. (для акцентирования

ее значимости поляки называли ее «соглашением», но никогда – «договором» или «пактом», как следуя ложной традиции называет ее С.Дуллэн). Декларация о неприменении силы в двусторонних отношениях неизменно рассматривалась Польшей как попытка на время обезопасить себя от германского ревизионизма. Польские представители тщетно доказывали эту простую истину Москве, которая упорно интерпретировала перемирие между Польшей и Германией как договор о совместном походе на СССР (Отметим попутно, что хотя польско-германские отношения тех лет получили едва ли не исчерпывающее освещение в работах профессиональных историков, современная российская литература по-прежнему пронизана антипольским пафосом образца 1934-1939 гг. Именно сложившейся в постсоветской историографии атмосферой можно, пожалуй, объяснить поразительно некритическое отношение к соответствующим советским материалам, которое проявленное автором капитального исследования отношений СССР и США середины 30-х гг.⁷).

Литвинов, похоже, не заходил так далеко в своих подозрениях относительно политики Польши, но не слишком упорствовал в попытках сохранить с нею партнерские отношения. При этом он мастерски использовал опасения Кремля в целях сближения с Францией, тем самым загоняя проблему вглубь. Без Польши и вопреки ей франко-советский договор о взаимной помощи не мог быть наполнен реальным содержанием, и никакие переговоры генеральных штабов не могли привести к соглашению о путях оказания Советским Союзом помощи Франции. Стоит ли удивляться, что уже весной 1935 г. Литвинов заговорил о своей отставке и о желании заняться делами союзного ЦИК (в то время освободился пост его Секретаря)⁸.

Польша была частью, хотя и ключевой частью общей проблемы отношений СССР с другими государствами Восточно-Центральной Европы, от устойчивости которых зависело, окажется ли успешным новый германский натиск на Восток. Эта проблема (за исключением ее чехословацкого аспекта применительно 1938 г.) редко обсуждается западными учеными. Книга С. Дуллэн в этом смысле не составляет исключения. Ее внимание сосредоточено отношениях СССР с великими державами, главным образом с Францией и Германией. Думается, что в этом отношении С. Дуллэн в значительной мере следует советскому дискурсу тех лет, в котором «малые» государства – Чехословакии, Латвия или Румыния рассматривались как объект «большой политики», а их поведение на международной сцене интересовало Москву главным образом как индикатор намерений и силы других великих держав. Вместе с тем С. Дуллэн отмечает, что как Сталин и Молотов, так и Литвинов рассматривали возможность укрепления влияния в соседних с ним странах в качестве фундаментального фактора безопасности (Р.128). В этом случае следовало бы ожидать, что советские руководители прислушаются к призывам Бенеша и Титулеску развивать политические и военные связи СССР с Чехословакией и Румынией, настояниям полпреда в Праге о необходимости «укреплять хребет чехам», к аргументам полпреда в Бухаресте в пользу заключения советско-румынского договора о взаимной помощи, к сходным рекомендациям полпреда в Литве, официальному предложению на этот счет со стороны МИД Латвии и т. д. Напротив, в 1935-1936 гг. Москва всеми силами стремилась минимизировать свои обязательства перед Прагой и воздерживалась от принятия новых. Уникальные сведения о распределении секретных фондов НКВД на оплату информантов и субсидирование прессы (автор приводит их в главе, посвященной деятельности советских представительств в Париже, Лондоне и Женеве (Р.209)) показывают, что на страны, фактически служившие барьером между СССР и Германией, выделялись ничтожные суммы. Все это показывает, что советское руководство было озабочено не укреплением своего влияния в странах Восточно-Центральной Европы, а сохранением дистанции в отношениях с ними. Почему?

⁷ Г. Н. Севостьянов. Москва – Вашингтон: Дипломатические отношения, 1933-1936. М., 2002. С.20, 150-152, 232

⁸ W. C. Bullitt to Secretary of State, Warsaw, May 29, 1935. – National Archives. SD:765.84/341.

Ответ, как мне представляется, может быть найден и в размышлениях С. Дуллэн о мотивах советской позиции в отношении республиканской Испании в середине 1937 г. Приводимые ею документы свидетельствуют, что Москва была обеспокоена в первую очередь возможностью разрастания испанского конфликта и его превращения в общеевропейскую войну и, наконец, втягивания Советского Союза в военные действия против фашистских государств (Р. 169-170, 299). Не эти ли соображения определяли магистральное отношение СССР и к перспективе столкновения Германии с малыми странами вблизи советских границ? И не сводилась ли «политика коллективной безопасности» к попыткам побудить западные государства к отстаиванию статус-кво при сохранении за СССР свободы рук? Возвращаясь к тезису С. Дуллэн о «тактике балансирования», уместно вспомнить, что употребление этого термина подразумевает наличие *стратегии* (от четкого определения которой сама автор воздерживается). Впрочем, советская реальность упрямо сопротивляется логике, и не исключено, что эта пара понятий столь же несоотносима с нею, как и другие классические клише. Тем не менее, в контексте рассматриваемого исследования стратегия СССР в Европе в середине 30-х гг. может быть определена как маневрирование, направленное к главной цели – остаться в стороне от назревающей войны. При этом, в отличие от большинства государственных деятелей и политиков Великобритании и Франции, советские руководители не питали иллюзий относительно возможности избежать новой мировой войны (и, разумеется, иначе относились к перспективам связанного с ней краха социального устройства европейских стран).

Излюбленный тезис внешнеполитической пропаганды Москвы о неделимости мира и об обреченности политики, которая отказывается признавать этот факт, применим поэтому и к европейской стратегии СССР. В силу неразрешимых внутренних противоречий она не могла привести к успеху, не могла не вырождаться, не могла развиваться иначе как от поражения к поражению. С другой стороны, боязливое великодержавие (побуждавшее к храброму третированию Уругвая (Р. 237-238), но не позволявшее направить в Бухарест военного атташе) ко второй половине 30-х гг. вступало в конфликт с огромным военным потенциалом и антифашистскими революционаристскими ожиданиями. Кризис советской внешней политики провоцировал разлом в правящей элите и развязывание масштабных репрессий. Они развертывались на основе сталинской интерпретации «тезиса Клемансо» (выдвинутого Троцким десятью годами ранее), согласно которой вовлечение СССР в войну с фашистскими государствами не могло иметь иного смысла, чем свержение правящего режима и внутренняя либерализация. В этом смысле разгром «военно-фашистского заговора в РККА» в июне 1937 г. не просто стал ударом для франко-советских отношений, но и был отчасти порожден как невозможностью придать им союзнический смысл, так и попытками, предпринимавшимися в этом направлении советскими военными.

Эта линия, впрочем, лишь едва намечена в книге С. Дуллэн, тогда как другой стороне взаимосвязи внутренней и международной политики СССР она посвящает особую главу («В тени Кремля»). Разрушение Наркоминдела и сосредоточение всей полноты контроля над дипломатией в руках Сталина и его приближенных в 1936-1938 гг. происходили в условиях развертывания кампании за «внутрипартийную демократию» и возбуждения народной ненависти, возвращения к духу первобытного большевизма (обстоятельства, ярко раскрытые в упоминаемой автором работе Дж. Арч Гетти). С конца 1936 г. в идеологии террора, отмечает С. Дуллэн, антиимпериализм берет верх над логикой антифашизма. Настояния Молотова и Жданова на предъявлении публичных обвинений, в которых бы фигурировал французское посольство и Интеллидженс Сервис, безусловно, соотносились с отклонением сталинской группой «франко-британской политики Литвинова». «В последующие годы эта тенденция лишь усиливалась» (Р. 252). Поэтому в Кремле не видели особого неудобства для советской внешней политики в том, что в результате истребления большей части высшего эшелона дипломатической службы полпредства в некоторых странах фактически прекратили функционировать (в качестве примера автор рассказывает о том, что на протяжении почти двух лет полпредство в Варшаве возглавлял первый секретарь Листопад, не знавший ни

одного языка кроме русского и избегавший общения с другими дипломатами или поляками (Р. 255)). Усилия Литвинова (вплоть до личных ручательств за «благонадежность» своих сотрудников и дипломатов), по всей вероятности, не спасли ни одну из намеченных жертв.

Рабочие отношения между НКВД и политическим руководством существенно изменились. Тщательный анализ журналов посещения кабинета Сталина показывает, что совещания в Кремле становились более редкими и походили на вызов индивидуальных исполнителей к «руководящим товарищам». На этих встречах вместо Литвинова Наркоминдел часто представлял его новый заместитель В. П. Потемкин (автор отмечает, что несмотря на личную несхожесть и соперничество между ними не было явных разногласий относительно проведения внешнеполитического курса). В непосредственном окружении Сталина у Литвинова, наряду с его традиционным оппонентом Молотовым, появился новый противник – молодой секретарь ЦК Жданов, чей публичный дебют в международных делах ознаменовался обещанием «расширить с помощью Красной Армии наше маленькое окно в Европу» на Балтике (Р.268).

Некогда влиятельные люди в 1937-1939 гг. оказались «в резерве советского отечестве». Для них самих это были годы деморализации, поскольку именно на плечи дипломатов (тех из них, кто остался в живых и «на свободе») выпало поддерживать агонию «политики коллективной безопасности». По существу эти слова не имели больше особого смысла, если не считать того, что они служили задаче подталкивания западных демократий к противодействию гитлеровской агрессии в Центральной Европе. Действительное поведение СССР определялось новым изоляционизмом, и страницы, которые С. Дуллэн посвящает этому феномену, являются одними из наиболее важных. Являясь отчасти реакцией на политику западных государств, стремление «замкнуться в себе» соответствовало желания Сталина и его окружения, которые усматривали в изоляционизме более подходящее средство для того, чтобы оставаться вне войны и вести переговоры об участии или неучастии в ней с позиции силы». В отличие от 20-х гг., в конце 30-х советский изоляционизм определялся не слабостью. «Он был порожден, наряду с ожившими в атмосфере Большого Террора ксенофобией и антикапиталистическим дискурсом, индустриальной самодостаточностью и военной мощью, и заявлял о себе имперской концепцией периметра безопасности» (Р.280).

Используемые автором материалы позволяют полагать, что Литвинов вкладывал иное содержание в понятие изоляционизма, рассматривая его в качестве временного воздержания от возобновления сотрудничества с Англией и Францией. Что же касается поступавших выдержанных в духе враждебности к Западу донесений, которые поступали от полпредов СССР, то трудно не согласиться с С. Дуллэн в том, что их содержание определялось как искренним разочарованием советских дипломатов, так и немалой долей оппортунизма. В конце 30-х гг. полпреды в гораздо большей степени, чем в предшествующие годы говорили то, что хотело от них услышать высокое начальство. Оценки Литвиновым, сочетавшего знание перипетий европейской политики и позиции Кремля, с конца 1937 г. отличались крайней пессимистичностью. Аншлюс Австрии, писал он полпреду в Праге в марте 1938 г., обеспечил Гитлеру гегемонию в Европе независимо от того, какое будущее ждет Чехословакию. Литвинов предупреждал, что советская декларация по поводу аншлюсса является «последним призывом к сотрудничеству с Европой», после чего СССР устранился от проявления излишнего интереса к европейским событиям (Р. 288). Американскому послу в Москве он в те дни предсказывал, что «через очень короткое время Европе, в которой утвердится фашистское господство, будут противостоять лишь Великобритания на западе и Советский Союз на востоке». Станным образом, по мнению наркома, овладение немцами Восточной Европой не должно было создать непосредственной угрозы СССР⁹. Не потому ли, что в Москве уже в апреле 1938 г. размышляли над сценариями четвертого раздела Польши (Р. 296)? Во всяком случае, как явствует из изложения С. Дуллэн, в период сентябрьского кризиса 1938 г. советское руководство было озабочено не столько судьбой Чехословакии, сколько тем, как не оказаться втянутым в возможный военный конфликт.

⁹ J. E. Davies. Mission to Moscow. N. Y., 1941. P. 291.

Поэтому даже половинчатое предложение Литвинова публично заявить о проводимой в СССР частичной мобилизации (дабы подбодрить Францию и припугнуть Германию и Польшу) было им отклонено (Р. 297).

Осторожный эгоизм, вдохновлявший поведение СССР в чехословацком кризисе, не помешал Москве интерпретировать аналогичную ущербность британской и французской политики в терминах антисоветского сговора. Создается впечатление, что популярность в советских кругах теории о мюнхенском заговоре империалистических держав объяснялась желанием окончательно очистить внешнеполитическую совесть СССР от наследия «коллективной безопасности». В октябре 1938 г. в советских верхах обсуждался вопрос о денонсации пакта о взаимопомощи с Францией. Такая акция была сочтена преждевременной (Р.303). После советских маневров, направленных на улучшение отношений с Германией, Италией и Польшей, и после того, как вслед за нарушением Гитлером Мюнхенского соглашения Англия и Франция объявила о предоставлении гарантий странам Восточной Европы, Москва почувствовала себя уверенно. Торопиться было некуда: «время работает на нас». Для того, чтобы остановить германскую агрессию, потребуется наша помощь, объяснял Литвинов полпреду в Берлине, и чем позже за ней обратятся, тем дороже заплатят (Р. 308). Это было одно из последних установочных писем наркома. Для ведения торга Литвинов был уже не нужен. В начале мая 1939 г. его сменил Молотов – идеальная кандидатура для проведения политики, ставящей во главу угла получение максимальной и осозанной выгоды в самом ближайшем будущем (Р.321).

Последние страницы книги посвящены послевоенным судьбам лучших советских дипломатов “литвиновской эпохи” – Сурица, Штейна, Коллонтай и самого Литвинова. Читатель вправе ожидать итогового суждения автора о личности и политической роли Максима Литвинова. Такого суждения в книге нет. Несмотря на обилие привлеченных С. Дуллэн новых материалов представленный ею образ наркома по иностранным делам страдает неполнотой. Автор воздерживается от попыток оценить его политические убеждения, отношении к внутриполитическому курсу, к трагедиям голода и коллективизации, если не считать замечания о том, что Литвинов задолго до 1937 г. набил руку на дезавуировании неприятных фактов и на благовидных оправданиях сталинской политики. Что же означали ссылки на принадлежность к “правому уклону”, о чем напоминали его недруги в начале 30-х гг.? Или уверенность Молотова в том, что его оппонент “стоял на другой позиции, довольно оппортунистической, очень сочувствовал Троцкому, Зиновьеву, Каменеву»¹⁰. Обсуждение этой проблемы даже при отсутствии в распоряжении автора новых архивных свидетельств, было бы весьма уместным, тем более что она внутренне сопряжено с трактовкой мотивов Литвинова в отношении гитлеровской Германии и западных государств.

С. Дуллэн дважды отмечает, что еврейское происхождение и опыт детства помогли Литвинову и Сурицу составить ясное представление о гитлеризме (Р.108, 111). Возможно. Однако такого рода построения слишком напоминают абсурдные ожидания министра иностранных дел Польши, что замена еврея Литвинова русским Молотовым позитивно скажется на отношении Москвы к полякам. В действительности для самоидентификации как Сурица, так и Литвинова основополагающим являлось чувство принадлежности к русской и европейской культуре, ощущение себя русскими европейцами (или европейскими русскими) – впрочем, вполне достаточное основание для ненависти к нацизму. Однако какие-либо надежные свидетельства относительно влияния этой ненависти на “литвиновский” внешнеполитический курс отсутствуют. Можно зато с большой определенностью утверждать, что как человек и политик Литвинов считал неразумным рассчитывать на партнерские отношения с непредсказуемыми диктаторскими режимами (будь то, по его

¹⁰ Ф. Чуев. Молотов: полудержавный властелин. М., 1999. С.133.

словам, режим Муссолини или Пилсудского) и предпочитал им демократические правительства¹¹.

В целом в книге С. Дуллэн Литвинов предстает скорее в образе эффективного и просвещенного “крокодила” сталинской администрации, способного на рискованные маневры и жестко отстаивающего prerogative своего ведомства на получение информации и участие во всех решениях в области взаимоотношений СССР с внешним миром, но готового смириться с уничтожением близких ему людей. Литвинов “находился на стороне молота”, хотя и знал, что может быстро переместиться к наковальне (Р.241). Если это окончательный вердикт, то он несправедлив.

В последние месяцы своего пребывания в НКВД в 1945-1946 гг. Литвинов смело переступил черту. Высказанные в общении с американскими и британскими дипломатами и журналистами его оценки политики СССР явились призывом к Западу не обольщаться и не уступать Кремлю. Призывая западные державы не повторять по отношению к Сталину ошибок, совершенных ими в отношении Гитлера, экс-нарком сохранял верность идеалам 30-х гг. Молотов был прав в своей оценке: на пороге своего семидесятилетия Литвинов сделал все возможное, чтобы *заслужить* “высшую меру наказания”¹². Литвинов окончил свою политическую жизнь свободным человеком, даже если важнейшая ее часть прошла между молотом и наковальней. Жаль, что в книге С. Дуллэн об этом не говорится.

Впрочем, невозможно представить себе сочинение, посвященное одновременно европейской дипломатии и советской внешней политике, функционированию ведомства и его взаимоотношениям с Кремлем и Старой площадью, условиям жизни дипломатов и кругу их общения, наконец, индивидуальностям и судьбам людей, которое бы не вызвало упрека в неполноте, с какой в нем представлены или иные аспекты.

Неизмеримо важнее, что исследование С. Дуллэн лишено фальшивой ноты. Ее документация исходит из надежных источников и пропущена через фильтр профессионального анализа. Ее аргументы логичны, формулировки сдержаны. Внимание к деталям не затмевает общей картины. Сочувствие к героям не превращает их в кумиров или мучеников.

Книга завершается эпилогом. Вероятно, автор полагает, что время подведения итогов, ответов на “вечные вопросы” предвоенного десятилетия еще не наступило. Тем не менее любая попытка их разрешения отныне невозможна без внимательно прочтения “Влиятельных людей”.

¹¹ См. высказывания Литвинова в беседе с французским послом Ж. Эрбеттом: Raport J. Kowalewskiego do Szefu Oddziału II Sztabu Głównego, Moskwa, 13.3.1931. – AAN. Attache wojskowi w Moskwie/93/354.

¹² Перечень основных работ см.: Geoffrey Roberts. Litvinov's Lost Peace // Journal of Cold War Studies. Vol. 4. No. 2 (Spring 2002). P.24; сравнение советской политики с гитлеровской см.: F. Roberts to E. Bevin, Moscow, Sept. 6, 1946. – Public Record Office. FO/371/56731/N11678; рассказ Молотова см.: Ф.Чуев. Указ соч. С. 131.